

ЖИВЫЕ МОЩИ

Добрых сорок лет я знал художника Александра Владимировича Григорьева, и всегда у него был вид принявшего изнурительную схиму и доведенного до последней степени чахотки монаха. Бледный до желтизны, с впалыми щеками прозрачного от худобы лица, с жидкими косицами откинутых назад русых волос, он не особенно удивил бы меня при нашем первом знакомстве, если бы признался, что носит под ситцевой косовороткой пудовые вериги схимонаха.

О таких, как Григорьев, так и подмывало сказать, что он не жилец на белом свете, но это было обманчивое впечатление, — Григорьев обладал поразительной настойчивостью, и она-то в соединении с редкой выносливостью и помогла ему прожить большую и трудную жизнь.

Мы познакомились с ним в студии художника Ильи Машкова, о которой я упоминал.

Полный подлинно фламандского здоровья и брызжущего через край жизнелюбия, Машков уже прославился своими великолепными натюрмортами. Он держал студию на Харитоньевском. Когда я, смущаясь и густо

краснея, объяснил, что смогу платить вместо объявленных им двадцати пяти рублей в месяц только десять и приходиться буду только по вечерам, он сразу согласился. Будь я бесцеремоннее, Илья Иванович не стал бы брать с меня и этой платы.

Между тем из-за нее мне пришлось распротиться с обедами, а то и ужинами.

Но выбора у меня не было. В Училище живописи, ваяния и зодчества я не попал, внезапно заболев и так и не дописав поставленной для экзаменующихся натурщицы. Это было тем более обидно, что натурщица, которую я должен был написать в течение трех положенных для этого дней, была поставлена словно специально для меня — дебелая, грузная женщина лет сорока, она своими мощными формами отвечала тогдашним моим живописным устремлениям*. Я увлекался Сезанном, и мне казалось, что ему, первому из художников, удалось не только изобразить на холсте объем предметов, но и передать их вес. Последнее же я тогда считал наиглавнейшим в живописи, хотя теперь — убей меня бог — никак не пойму, почему живопись, по тогдашним моим соображениям, должна была заниматься земным притяжением.

На Харитоньевский, в студию Машкова, впрочем, я пришел и потому, что еще в гимназии был ярым сторонником французских импрессионистов и модного в ту пору «Бубнового валета», в который входил и Илья Машков.

Живущий в созданном им мире потрясающих красок, Илья Иванович отнесился ко мне с явным безразличием. Впрочем, работавший в его студии года за три до меня Черемных как-то рассказывал о том, что ни разу не слышал от Машкова ни одного замечания по своим работам. Очевидно, это было свойством его характера.

Лишь в первый день нашего знакомства Илья Иванович снизошел до разговора со мной и, пригласив меня в небольшой свой кабинет, показал многочисленные фотографии негритянок, привезенные из Каира, в котором побывал накануне войны. Поразив юношеское воображение мое непомерно длинными, перекинутыми через пле-

* Это была знаменитая в кругу художников Осипович, которую лепил С. Коненков и писал И. Машков.

чи грудями черной, как вакса, старухи, он больше эстетическим воспитанием моим не занимался.

С увлечением неофита, впервые познакомившегося с кубизмом, я создавал причудливые кубы и конусы, прослеживая силы земного тяготения, действовавшие на отдельные части тела позировавшей нам натурщицы или натурщика. Но и это не трогало невозмутимого Машкова. Высоченный, на голову выше своих учеников и учениц, коротко остриженный, с краснощеким, несколько детским лицом, он время от времени подходил к моему мольберту и, не без легкой усмешки, но все так же молча, глянув на изображенные мною угловатые чудовища, переходил к сидевшему рядом студийцу.

Безразличие Ильи Ивановича меня вполне устраивало. Я мог делать все, что мне вздумается, а в голову в те годы лезло столько самой парадоксальной футуристической и кубистической чуши, что со мной не справился бы даже Чистяков, наиболее замечательный и даровитый преподаватель рисования и живописи в истории русского искусства.

Чистякову принадлежит широко известное среди художников выражение:

— Как нарисуешь раз со сто, так и покажется просто!..

Увы, в студии Машкова мы рисовали натуру лишь один раз и то набрасывая углем торопливые «кроки».

Заинтересовавшись моим «кубистическим» упрямством, Григорьев заговорил со мной. Мы познакомились. Я сразу окрестил его «живыми мощами». Григорьев в ту пору преподавал рисование в одной захудалой и едва ли не частной женской гимназии или прогимназии. Жил же он в огромном доме Солодовникова на 1-й Мещанской, крохотные дешевые комнатки которого, смахивавшие больше на одиночные камеры, были битком набиты голодными студентами, начинающими художниками и ни разу не напечатавшимися литераторами.

Как-то Григорьев затащил меня к себе, и всю ночь, сидя на узкой койке в его нищенской комнатухе, я подобно ему восторгался изумительными рисунками первоклассниц и второклассниц. Григорьев преподавал рисование по-новому, не мешая детской фантазии создавать подлинные шедевры колорита и выразительности.

Теперь это делают если не все, то многие. Тогда же,

до революции, Григорьев был одним из новаторов в этом деле и, конечно, не раз рисковал местом из-за этого своего вольнодумства.

В студии Ильи Машкова я проработал до нового года, платить за возможность рисовать натурщиков и натурщиц мне стало невозможно. Покинув студию, я перестал встречаться и с Григорьевым, вероятно, потому, что вскоре сделался доверенным Земгора, и начал уезжать из Москвы в длительные командировки.

Встретились мы с Григорьевым лишь через семь лет, когда он оказался сотрудником Агитпропа, помещавшегося в каменном двухэтажном флигеле, примыкавшем к зданию Цека со стороны Арбатской площади...

За годы, что мы не виделись, Григорьев побывал на большой советской работе и теперь, как оказалось, не первый год уже возился с идеей объединения художников, готовых отказаться от все еще господствующего в их порядке отсталой среде реакционного принципа «искусства для искусства».

Черемис, как называли тогда, или марисц по национальности, Александр Владимирович родился в 1891 году в селе Елохове и там окончил церковно-приходское училище. Сын сельского учителя, он было пошел по стопам отца и поступил в казанскую инородческую семинарию, но окончить ее не смог, так как был исключен за участие в студенческих беспорядках. Оказавшись на улице, лето Григорьев проработал на плотях, а осенью поступил в казанскую художественную школу и в ней стал одним из лучших учеников художника Фешина.

В 1914 году Григорьев попытался поступить в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, но из-за политической неблагонадежности попал в него только вольнослушателем.

Потом Григорьев поступил на службу в Земский союз. Революция застала его сотрудником статистического отдела. Вместе с работавшим там студентом Рижского политехникума Семеном Родовым, в дальнейшем поэтом и критиком, Григорьев, не будучи еще в партии, произвел своеобразный переворот. И когда в декабре 1917 года вышел подписанный Лениным декрет о национализации Всероссийского земского союза, в состав назначенного нового Главного комитета вошли и Родов и Григорьев.

В годы гражданской войны Григорьев немало сделал у себя на родине. В городе Космодемьянске находится созданный его неистощимой энергией художественный музей, одно время носивший его имя.

Стремление приобщить русских художников к тому героическому строительству и борьбе за социализм, которые вела большевистская партия, заставило Александра Владимировича, члена партии с 19-го года, перебраться в Москву.

Теперь, спустя многие годы, все это кажется несложным. Подавляющее большинство наших художников если и повинно в чем-либо, то разве лишь в излишнем пристрастии к элементарному натурализму, который порой принимают за реализм.

Ни в одной области не бывает такого огромного количества беспредметных и малодоказательных споров, как в искусстве. Бесчисленное количество раз мы, как зачарованные, остаемся у полотен великих русских мастеров восемнадцатого и девятнадцатого веков и, как правило, не задумываясь над корнями их потрясающего мастерства. Между тем поразительному мастерству этому они обязаны самой системе художественного воспитания того времени, когда в Академии художеств принимались восьми-девятилетние мальчишки, приобретавшие к поре своего возмужания такой опыт в рисовании, какой не снился никому из наших современников.

До того, чтобы создавать для одаренных детей такие же специальные живописные школы, как те, что организованы при лучших наших оперных театрах, начиная от Большого, для будущих балерин и их партнеров, мы еще не дошли, но молодежь, оканчивающая Суриковское училище, хоть и не ахти как, а все-таки рисует. Между тем в первые годы революции окончивший Вхутемас не мог нарисовать и «гипса».

Поклонников абстрактного искусства, столь модного на Западе и особенно в США, у нас почти не найдешь, а явная бессмыслица его вызывает смех во много раз чаще, нежели неискреннее, больше для того, чтобы показать свою образованность, одобрение.

Но в годы, когда Григорьев с неистощимой энергией отвоевывал у все еще враждебной новой власти старого общества не так уж хорошо разбиравшихся в слож-

ной политической обстановке, но превосходно пишущих и высокоталантливых художников, вроде Малявина или Нестерова, это было настоящим подвигом.

Подлинный реализм приходилось тогда отстаивать не только от насюков справа, но и от атак слева. Не только кубисты, но даже супрематисты готовы были считать себя чуть ли не официальной школой, а в том же Вхутемасе одержимые сезаннизмом девицы и молодые люди из года в год писали один и тот же натюрморт «под Фалька»: жестяной бидон от керосина, пару селедок на похжей на пшеничную лепешку тарелке и еще что-нибудь в том же роде на серо-грязном или грязновато-желтом фоне.

Сам Григорьев никогда не был поклонником унылого натурализма. Незадолго до его смерти я был у Григорьева в Тарусе и видел несколько последних его холстов, свежо и ярко написанных. И в свое время, в начале двадцатых годов, он направлял усилия лишь на борьбу с аполитичностью искусства, а за ней, особенно в то не устоявшееся еще время, чаще всего скрывались и антисоветские настроения...

Идеи свои Григорьев осуществил, сделавшись организатором АХРР (Ассоциации художников революционной России).

Сначала АХРР называлась Ассоциацией художников по изучению современного революционного быта. Первым мероприятием ее была организация выставки в пользу голодающих, открытой на Кузнецком мосту к 1 мая 1922 года.

В середине мая было оформлено название АХРР, а в августе того же года был утвержден и первый ее состав.

Председателем АХРР был выбран Павел Радимов.

Заместителем П. Радимова по АХРР был избран А. Григорьев, секретарем — Е. Кацман.

Летом 1926 года группа ахрровцев в составе Бродского, Григорьева, Радимова и Кацмана ездила в Финляндию к Илье Репину. Великий русский художник со свойственной ему зоркостью сразу же приметил основное душевное свойство Григорьева, человека, целиком отдающего себя любимому делу и ничего не берущего взамен.

«Григорьев — святой души человек», — сказал он Бродскому.